

ЭДГАР АЛЛАН ПО

ПАДЕНИЕ
ДОМА АШЕРОВ



The Fall of the House of Usher



Миры Эдгара По

Эдгар Аллан По

Падение дома Ашеров (сборник)

«ФТМ»

«Издательство АСТ»

УДК 821.111(73)
ББК 84(4Coe)-445

По Э.

Падение дома Ашеров (сборник) / Э. По — «ФТМ»,
«Издательство АСТ», — (Миры Эдгара По)

ISBN 978-5-17-095232-8

Эдгар Аллан По не нуждается в особенном представлении. Прозаик, поэт, литературный критик, этот человек навсегда вписал свое имя в зал славы мировой литературы. Создатель формы современного детектива, «отец современной психологической прозы», «певец темных сторон человеческой природы», способствовавший формированию и развитию научной фантастики и предвосхитивший литературу декаданса. По мнению исследователей его творчества, По окончательно завершил формирование не только американской, но и мировой новеллистики и у него больше общего с деятелями культуры XXI века, чем с современниками.

УДК 821.111(73)
ББК 84(4Coe)-445

ISBN 978-5-17-095232-8

© По Э.
© ФТМ
© Издательство АСТ

Содержание

Метценгерштейн[1]	6
Рукопись, найденная в бутылке[5]	11
Береника[7]	18
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Эдгар Аллан По
Падение дома Ашеров (сборник)

© ООО «Издательство АСТ», 2016

* * *

Метценгерштейн¹

*Pestis eram vivus – moriens tua mors ero*².

Мартин Лютер

Ужас и рок преследовали человека извечно. Зачем же в таком случае уточнять, когда именно сбылось то пророчество, к которому я обращаюсь? Достаточно будет сказать, что в ту пору, о которой пойдет речь, в самых недрах Венгрии еще жива и крепка была вера в откровения и таинства учения о переселении душ. О самих этих откровениях и таинствах, заслуживают ли они доверия или ложны, умолчу. Полагаю, однако, что недоверчивость наша (как говаривал Лабрюйер обо всех наших несчастьях, вместе взятых) в значительной мере «vient de ne pouvoir être seule».³

Но в некоторых своих представлениях венгерская мистика придерживалась крайностей, почти уже абсурдных. Они, венгры, весьма существенно отличались от своих властителей с востока. И они, например, утверждали: «Душа (привожу дословно сказанное одним умнейшим и очень глубоким парижанином) ne demeure qu'une seule fois dans un corps sensible: au reste – un cheval, un chien, un homme même, n'est que la ressemblance peu tangible de ces animaux»⁴.

Распря между домами Берлифитцингов и Метценгерштейнов исчисляла свою давность веками. Никогда еще два рода столь же именитых не враждовали так люто и непримиримо. Первопричину этой вражды искать, кажется, следовало в словах одного древнего прорицания: «Страшен будет закат высокого имени, когда, подобно всаднику над конем, смертность Метценгерштейна восторжествует над бессмертием Берлифитцинга».

Конечно, сами по себе слова эти маловразумительны, если не бессмысленны вообще. Но ведь событиям столь же бурным случалось разыгрываться, и притом еще на нашей памяти, и от причин, куда более ничтожных. Кроме же всего прочего смежность имений порождала раздоры, отражавшиеся и на государственной политике. Более того, близкие соседи редко бывают друзьями, а обитатели замка Берлифитцинг могли с бойниц своей твердыни смотреть прямо в окна дворца Метценгерштейн. Подобное же лицезрение неслыханной у обычных феодалов роскоши меньше всего могло способствовать умиротворению менее родовитых и менее богатых Берлифитцингов. Стоит ли удивляться, что при всей нелепости старого предсказания из-за него все же разгорелась неугасимая вражда между двумя родами, и без того всячески подстрекаемыми застарелым соперничеством и ненавистью. Пророчество это, если принимать его хоть сколько-нибудь всерьез, казалось залогом конечного торжества дома и так более могущественного, и, само собой, при мысли о нем слабейший и менее влиятельный бесновался все более злобно.

Вильгельм, граф Берлифитцинг, при всей его высокородности, был к тому времени, о котором идет наш рассказ, немощным, совершенно впавшим в детство старцем, не примечательным ровно ничем, кроме безудержной, закоснелой ненависти к каждому из враждебного семейства, да разве тем еще, что был столь завзятым лошадиником и так помешан на охоте, что

¹ © Перевод. В. Неделин, наследники, 2002

² При жизни был для тебя несчастьем; умирая, буду твоей смертью (лат.).

³ Проистекает от того, что мы не умеем быть одни (фр.). // Учение о метампсихозе решительно поддерживает Мерсье в «L'an deux mille quatre cent quarante», а И. Дизраэли говорит, что «нет ни одной другой системы, столь же простой и восприимчивости которой наше сознание противилось бы так же слабо». Говорят, что ревностным поборником идеи метампсихоза был и полковник Итен Аллен, один из «ребят с Зеленой горы». – Примеч. авт.

⁴ Лишь один раз вселяется в живое пристанище, будь то лошадь, собака, даже человек, впрочем, разница между ними не так уж велика (фр.).

при всей его дряхлости, преклонном возрасте и старческом слабоумии у него, бывало, что ни день, то снова лов.

Фредерик же, барон Метценгерштейн, еще даже не достиг совершеннолетия. Отец его, министр Г., умер совсем молодым. Мать, леди Мари, ненадолго пережила супруга. Фредерику в ту пору шел восемнадцатый год. В городах восемнадцать лет – еще не возраст; но в дремучей глуши, в таких царственных дебрях, как их старое княжество, каждый взмах маятника куда полновесней.

В силу особых условий, оговоренных в духовной отцом, юный барон вступал во владение всем своим несметным богатством сразу же после кончины последнего. До него мало кому из венгерской знати доставались такие угодья. Замкам его не было счета. Но все их затмевал своей роскошью и грандиозностью размеров дворец Метценгерштейн. Угодья его были немерены, и одна только граница дворцового парка тянулась целые пятьдесят миль, прежде чем замкнуться.

После вступления во владение таким баснословным состоянием господина столь юного и личности столь заметной недолго пришлось гадать насчет того, как он проявит себя. И верно, не прошло и трех дней, как наследник переиродил самого царя Ирода и положительно посрамил расчеты самых загубелых из своих выдавших виды холопов. Гнусные бесчинства, ужасающее вероломство, неслыханные расправы очень скоро убедили его трепещущих вассалов, что никаким раболепством его не умилоставишь, а совести от него и не жди, и, стало быть, не может быть ни малейшей уверенности, что не попадешь в безжалостные когти местного Калигулы. На четвертую ночь запылали конюшни в замке Берлифитцинг, и стоустая молва по всей округе прибавила к страшному и без того списку преступлений и бесчинств барона еще и поджог.

Но пока длился переполох, поднятый этим несчастьем, сам юный вельможа сидел, видимо, весь уйдя в свои думы, в огромном, пустынном верхнем зале дворца Метценгерштейн. Бесценные, хотя и выцветшие от времени гобелены, хмуро смотревшие со стен, запечатлели темные, величественные лики доброй тысячи славных предков. Здесь прелаты в горностаевых мантиях и епископских митрах по-родственному держали совет с всесильным временщиком и сувереном о том, как не давать воли очередному королю, или именем папского всемогущества отражали скипетр сатанинской власти. Там высокие темные фигуры князей Метценгерштейн на могучих боевых конях, скачущих по телам поверженных врагов, нагоняли своей злобной выразительностью страх на человека с самыми крепкими нервами; а здесь обольстительные фигуры дам невозвратных дней лебедями проплывали в хороводе какого-то неземного танца, и его напев, казалось, так и звучит в ушах.

Но пока барон прислушивался или старался прислушаться к оглушительному гаму в конюшнях Берлифитцинга или, может быть, замыслил уже какое-нибудь бесчинство поновей и еще отчаянней, взгляд его невзначай обратился к гобелену с изображением огромного коня диковинной масти, принадлежавшего некогда сарацинскому предку враждебного рода. Конь стоял на переднем плане, замерев, как статуя, а чуть поодаль умирал его хозяин, заколотый кинжалом одного из Метценгерштейнов.

Когда Фредерик сообразил, наконец, на что невольно, сам собой обратился его рассеянный взгляд, губы его исказила дьявольская гримаса. Но оцепенение не прошло. Напротив, он и сам не мог понять, что за неодолимая тревога застилает, словно пеленой, все, что он видит и слышит. И нелегко ему было примирить свои дремотные, бессвязные мысли с сознанием, что все это творится с ним не во сне, а наяву. Чем больше присматривался он к этой сцене, тем невероятней казалось, что ему вообще удастся оторвать от нее глаза – так велика была притягательная сила картины. Но шум за стенами дворца вдруг стал еще сильнее, и когда он с нечеловеческим усилием заставил себя оторваться от картины, то увидел багровые отблески, которые горящие конюшни отбрасывали в окна дворцового зала.

Но, отвлекшись было на миг, его завороченный взгляд сразу послушно вернулся к той же стене. К его неописуемому изумлению и ужасу, голова коня-великана успела тем временем изменить свое положение. Шея коня, прежде выгнутая дугой, когда он, словно скорбя, склонял голову над простертым телом своего повелителя, теперь вытянулась во всю длину по направлению к барону. Глаза, которых прежде не было видно, смотрели теперь настойчиво, совсем как человеческие, пылая невиданным кровавым огнем, а пасть разъяренной лошади вся ощерилась, скаля жуткие, как у мертвеца, зубы.

Пораженный ужасом, барон неверным шагом устремился к выходу. Едва только он распахнул дверь, ослепительный красный свет, сразу заливший весь зал, отбросил резкую, точно очерченную тень барона прямо на заколыхавшийся гобелен, и он содрогнулся, заметив, что тень его в тот миг, когда он замешкался на пороге, в точности совпала с контуром безжалостного, ликующего убийцы, сразившего сарацина Берлифитцинга.

Чтобы рассеяться, барон поспешил на свежий воздух. У главных ворот он столкнулся с тремя конюхами. Выбиваясь из сил, несмотря на смертельную опасность, они удерживали яростно вырывающегося коня огненно-рыжей масти.

– Чья лошадь? Откуда? – спросил юноша резким, но вдруг сразу охрипшим голосом, ибо его тут же осенило, что это бешеное животное перед ним – живой двойник загадочного скакуна в гобеленовом зале.

– Она ваша, господин, – отвечал один из конюхов, – во всяком случае, другого владельца пока не объявилось. Мы переняли ее, когда она вылетела из горящих конюшен в замке Берлифитцинг – вся взмыленная, словно взбесилась. Решив, что это конь из выводных скакунов с графского завода, мы отвели было его назад. Но тамошние конюхи говорят, что у них никогда не было ничего похожего, и это совершенно непонятно – ведь он чудом уцелел от огня.

– Отчетливо видны еще и буквы «В. Ф. Б.», выжженные на лбу, – вмешался второй конюх, – я решил, что они безусловно обозначают имя: «Вильгельм фон Берлифитцинг», но все в замке в один голос уверяют, что лошадь не их.

– Весьма странно! – заметил барон рассеянно, явно думая о чем-то другом. – А лошадь действительно великолепна, чудо что за конь! Хотя, как ты правильно заметил, норовиста, с такой шутки плохи; что ж, ладно, – беру, – прибавил он, помолчав, – такому ли наезднику, как Фредерик Метценгерштейн, не объездить хоть самого черта с конюшен Берлифитцинга!

– Вы ошибаетесь, господин; лошадь, как мы, помнится, уже докладывали, не из графских конюшен. Будь оно так, уж мы свое дело знаем и не допустили бы такой оплошности, не рискнули бы показаться с ней на глаза никому из благородных представителей вашего семейства.

– Да, конечно, – сухо обронил барон, и в тот же самый миг к нему, весь красный от волнения, подлетел слуга, примчавшийся со всех ног из дворца. Он зашептал на ухо господину, что заметил исчезновение куска гобелена. И принялся сообщать какие-то подробности, но говорил так тихо, что изнывающие от любопытства конюхи не расслышали ни слова.

В душе у барона, пока ему докладывали, казалось, царил полнейшая сумятица. Скоро он, однако, овладел собой; на лице его появилось выражение злобной решимости, и он распорядился сейчас же запереть зал, а ключ передать ему в собственные руки.

– Вы уже слышали о жалком конце старого охотника Берлифитцинга? – спросил кто-то из вассалов, когда слуга скрылся, а огромного скакуна, которого наш вельможа только что приобщи к своей собственности, уже вели, беснующегося и рвущегося, по длинной аллее от дворца к конюшням.

– Нет! – отозвался барон, резко повернувшись к спросившему. – Умер? Да что вы говорите!

– Это так, ваша милость, и для главы вашего семейства это, по-моему, не самая печальная весть.

Мимолетная улыбка скользнула по губам барона.

– И как же он умер?

– Он бросился спасать своих любимцев из охотничьего выезда и сам сгорел.

– В са-мом де-ле! – протянул барон, который, казалось, медленно, но верно проникался сознанием правильности какой-то своей догадки.

– В самом деле, – повторил вассал.

– Прискорбно! – сказал юноша с полным равнодушием и не спеша повернул во дворец.

С того самого дня беспутного юного барона Фредерика фон Метценгерштейна словно подменили. Правда, его теперешний образ жизни вызывал заметное разочарование многих хитроумных маменек, но еще меньше его новые замашки вязались с понятиями аристократических соседей. Он не показывался за пределами своих владений, и на всем белом свете не было у него теперь ни друга, ни приятеля, если, правда, не считать той непонятной, неукротимой огненно-рыжей лошади, на которой он теперь разъезжал постоянно и которая, единственная, по какому-то загадочному праву именовалась его другом.

Однако еще долгое время бесчисленные приглашения от соседей сыпались ежедневно. «Не окажет ли барон нашему празднику честь своим посещением?...», «Не соизволит ли барон принять участие в охоте на кабана?». «Метценгерштейн не охотится», «Метценгерштейн не придет», – был высокомерный и краткий ответ.

Для заносчивой знати эти бесконечные оскорбления были нестерпимы. Приглашения потеряли сердечность, становились все реже, а со временем прекратились совсем. По слухам, вдова злополучного графа Берлифитцинга высказала даже уверенность, что «барон, видимо, отсиживается дома, когда у него нет к тому ни малейшей охоты, так как считает общество равных ниже своего достоинства; и ездит верхом, когда ему совсем не до езды, так как предпочитает водить компанию с лошадью». Это, разумеется, всего лишь нелепый образчик вошедшего в семейный обычай злословия, и только то и доказывает, какой бессмыслицей могут обернуться наши слова, когда нам не удается высказаться повыразительней.

Люди же более снисходительные объясняли внезапную перемену в поведении молодого вельможи естественным горем безвременно осиротевшего сына, забыв, однако, что его зверства и распутство начались чуть ли не сразу же после этой утраты. Были, конечно, и такие, кто высказывал, не обинуясь, мысль о самомнении и надменности. А были еще и такие – среди них не мешает упомянуть домашнего врача Метценгерштейнов, – кто с полным убеждением говорил о черной меланхолии и нездоровой наследственности; среди черни же в ходу были неясные догадки еще более нелестного толка.

Действительно, ни с чем не сообразное пристрастие барона к его новому коню, пристрастие, которое словно бы переходило уже в одержимость от каждого нового проявления дикости и дьявольской свирепости животного, стало в конце концов представляться людям благоразумным каким-то чудовищным и совершенно противоестественным извращением. В полуденный зной или в глухую ночную пору, здоровый ли, больной, при ясной погоде или в бурю, юный Метценгерштейн, казалось, был прикован к седлу этой огромной лошади, чья безудержная смелость была так под стать его нраву.

Были также обстоятельства, которые вкуче с недавними событиями придавали этой мании наездника и невиданной мощи коня какой-то мистический, зловещий смысл. Замечав акkuratнейшим образом скачок лошади, установили, что действительная его длина превосходит самые невероятные предположения людей с самым необузданным воображением настолько, что разница эта просто не укладывается в уме. Да к тому же еще барон держал коня, так и не дав ему ни имени, ни прозвища, а ведь все его лошади до единой носили каждая свою и всегда меткую кличку. Конюшня ему тоже была отведена особая, поодаль от общих; а что же касается ухода за конем, то ведь никто, кроме самого хозяина, не рискнул бы не то что подступиться к коню, а хотя бы войти к нему в станок, за ограду. Не осталось без внимания также и то обстоятельство, что перенять-то его, когда он вырывался с пожарища у Берли-

фитцинга, трое конюхов переняли, обратав его арканом и цепною уздой, но ни один из них не мог сказать, не покривив душой, что во время отчаянной схватки или после ему удалось хотя бы тронуть зверя. Не стоит приводить в доказательство поразительного ума, проявленного благородным и неприступным животным, примеры, тешившие праздное любопытство. Но были и такие подробности, от которых становилось не по себе самым отъявленным скептикам и людям, которых ничем не проймешь; и рассказывали, будто временами лошадь начала бить землю копытом с такой зловещей внушительностью, что толпа зевак, собравшихся вокруг поглазеть, в ужасе кидалась прочь, – будто тогда и сам юный Метценгерштейн бледнел и шаркался от быстрого, пытливого взгляда ее человеческих глаз.

Однако из всей челяди барона не было никого, кто усомнился бы в искренности восхищения молодого вельможи бешеным нравом диковинного коня, – таких не водилось, разве что убогий уродец паж, служивший общим посмешищем и мнения которого никто бы и слушать не стал. Он же (если его догадки заслуживают упоминания хотя бы мимоходом) имел наглость утверждать, будто хозяин, хотя это и не всякому заметно со стороны, каждый раз, вскакивая в седло, весь дрожит от безотчетного ужаса, а после обычной долгой проскачки возвращается каждый раз с лицом, перекошенным от злобного ликования.

Однажды, ненастной ночью, пробудившись от глубокого сна, Метценгерштейн с упорством маньяка вышел из спальни и, стремительно вскочив в седло, поскакал в дремучую лесную чащу. Это было делом настолько привычным, что никто и не обратил на отъезд барона особого внимания, но домочадцы всполошились, когда через несколько часов, в его отсутствие высокие, могучие зубчатые стены твердыни Метценгерштейнов вдруг начали давать трещины и рушиться до основания под напором могучей лавины синевато-багрового огня, справиться с которым нечего было и думать.

Так как пожар заметили, когда пламя успело разгореться уже настолько, что отстоять от огня хотя бы малую часть здания было уже делом явно безнадежным, то пораженным соседям оставалось лишь безучастно стоять кругом в немом, если не сказать благоговейном изумлении. Но вскоре новое страшное явление заставило все это сборище тут же забыть о пожаре, засвидетельствовав тем самым, насколько увлекательней для толпы вид человеческих страданий, чем самые захватывающие зрелища разгула стихий.

В дальнем конце длинной аллеи вековых дубов, которая вела из леса к парадному подъезду дворца Метценгерштейн, показался скакун, мчащийся всадника с непокрытой головой и в растерзанной одежде таким бешеным галопом, что за ним не угнаться бы и самому Князю Тьмы.

Лошадь несла, уже явно не слушаясь всадника. Искажённое мукой лицо, сведенное судорогой тело говорили о нечеловеческом напряжении всех сил; но кроме одного-единственного короткого вскрика ни звука не сорвалось с истерзанных, искусанных в бессильной ярости губ. Миг – и громкий, настойчивый перестук копыт покрыл рев пламени и завывания ветра; еще мгновение – и скакун единым махом пролетел в ворота и через ров, мелькнул по готовой вот-вот рухнуть дворцовой лестнице и сгинул вместе с всадником в огненном смерче.

И сразу же унялась ярость огненной бури, мало-помалу все стихло. Белесое пламя еще облекало саваном здание и, струясь в мирную заоблачную высь, вдруг вспыхнуло, засияло нездешним светом, и тогда тяжело нависшая над зубчатыми стенами туча дыма приняла явственные очертания гигантской фигуры коня.

Рукопись, найденная в бутылке⁵

Тому, кому осталось жить не более мгновенья, Уж больше нечего терять.

Филипп Кино. Атис

Об отечестве моем и семействе сказать мне почти нечего. Несправедливость изгнала меня на чужбину, а долгие годы разлуки отдалили от родных. Богатое наследство позволило мне получить изрядное для тогдашнего времени образование, а врожденная пытливость ума дала возможность привести в систему сведения, накопленные упорным трудом в ранней юности. Превыше всего любил я читать сочинения немецких философов-моралистов – не потому, что красноречивое безумие последних внушало мне неразумный восторг, а лишь за ту легкость, с какою привычка к логическому мышлению помогала обнаруживать ложность их построений. Меня часто упрекали в сухой рассудочности, недостаток фантазии вменялся мне в вину как некое преступление, и я всегда слыл последователем Пиррона. Боюсь, что чрезмерная приверженность к натурфилософии и вправду сделала меня жертвою весьма распространенного заблуждения нашего века – я имею в виду привычку объяснять все явления, даже те, которые меньше всего поддаются подобному объяснению, принципами этой науки. Вообще говоря, казалось почти невероятным, чтобы *ignes fatui*⁶ суеверия могли увлечь за суровые пределы истины человека моего склада. Я счел уместным предварить свой рассказ этим небольшим вступлением, дабы необыкновенные происшествия, которые я намереваюсь изложить, не были сочтены скорее плодом безумного воображения, нежели действительным опытом человеческого разума, совершенно исключившего игру фантазии как пустой звук и мертвую букву.

Проведши много лет в заграничных путешествиях, я не имел причин ехать куда бы то ни было, однако же, снедаемый каким-то нервным беспокойством, – словно сам дьявол в меня вселился, – я в 18... году выехал из порта Батавия, что на богатом и густонаселенном острове Ява, в качестве пассажира корабля, совершавшего плавание вдоль островов Зондского архипелага. Корабль наш, великолепный парусник водоизмещением около четырехсот тонн, построенный в Бомбее из малабарского тикового дерева и обшитый медью, имел на борту хлопок и хлопковое масло с Лаккадивских островов, а также копру, пальмовый сахар, топленое масло из молока буйволиц, кокосовые орехи и несколько ящиков опиума. Погрузка была сделана кое-как, что сильно уменьшало остойчивость судна.

Мы покинули порт при еле заметном ветерке и в течение долгих дней шли вдоль восточного берега Явы. Однообразие нашего плавания лишь изредка нарушалось встречаей с небольшими каботажными судами с тех островов, куда мы держали свой путь.

Однажды вечером я стоял, прислонившись к поручням на юте, и вдруг заметил на северо-западе какое-то странное одинокое облако. Оно поразило меня как своим цветом, так и тем, что было первым, какое мы увидели со дня отплытия из Батавии. Я пристально наблюдал за ним до самого заката, когда оно внезапно распространилось на восток и на запад, опоясав весь горизонт узкою лентой тумана, напоминавшей длинную полосу низкого морского берега. Вскоре после этого мое внимание привлек темно-красный цвет луны и необычайный вид моря. Последнее менялось прямо на глазах, причем вода казалась гораздо прозрачнее обыкновенного. Хотя можно было совершенно ясно различить дно, я бросил лот и убедился, что под килем ровно пятнадцать фадомов. Воздух стал невыносимо горячим и был насыщен испарениями, которые клубились, словно жар, поднимающийся от раскаленного железа. С прибли-

⁵ © Перевод. М. Беккер, наследники, 2002

⁶ Блуждающие огни (лат.).

жением ночи замерло последнее дыхание ветерка и воцарился совершенно невообразимый штиль. Ничто не колебало пламени свечи, горевшей на юте, а длинный волос, который я держал указательным и большим пальцем, не обнаруживал ни малейшей вибрации. Однако капитан объявил, что не видит никаких признаков опасности, а так как наш корабль сносило лагом к берегу, он приказал убрать паруса и отдать якорь. На вахту никого не поставили, и матросы, большей частью малайцы, лениво растянулись на палубе. Я спустился вниз – признаться, не без дурных предчувствий. И в самом деле, все свидетельствовало о приближении тайфуна. Я поделился своими опасениями с капитаном, но он не обратил никакого внимания на мои слова и ушел, не удостоив меня ответом. Тревога, однако, не давала мне спать, и ближе к полуночи я снова поднялся на палубу. Поставив ногу на верхнюю ступеньку трапа, я вздрогнул от громкого гула, напоминавшего звук, производимый быстрым вращением мельничного колеса, но прежде чем смог определить, откуда он исходит, почувствовал, что судно задрожало всем своим корпусом. Секунду спустя огромная масса вспененной воды положила нас на бок и, прокатившись по всей палубе от носа до кормы, унесла в море все, что там находилось.

Между тем этот неистовый порыв урагана оказался спасительным для нашего корабля. Ветер сломал и сбросил за борт мачты, вследствие чего судно медленно выпрямилось, некоторое время продолжало шататься под страшным натиском шквала, но в конце концов стало на ровный киль.

Каким чудом избежал я гибели – объяснить невозможно. Оглушенный ударом волны, я постепенно пришел в себя и обнаружил, что меня зажал между румпелем и фальшбортом. С большим трудом поднявшись на ноги и растерянно оглядевшись, я сначала решил, что нас бросило на рифы, ибо даже самая буйная фантазия не могла бы представить себе эти огромные вспененные буруны, словно стены, вздымавшиеся ввысь. Вдруг до меня донесся голос старого шведа, который сел на корабль перед самым отплытием из порта. Я что было силы закричал ему в ответ, и он, шатаясь, пробрался ко мне на корму. Вскоре оказалось, что в живых остались только мы двое. Всех, кто находился на палубе, кроме нас со шведом, смыло за борт, что же касается капитана и его помощников, то они, по-видимому, погибли во сне, ибо их каюты были доверху залиты водой. Лишенные всякой помощи, мы вдвоем едва ли могли предпринять что-либо для безопасности судна, тем более что вначале, пораженные ужасом, с минуты на минуту ожидали конца. При первом же порыве урагана наш якорный канат, разумеется, лопнул, как тонкая бечевка, и лишь благодаря этому нас тут же не перевернуло вверх дном. Мы с невероятной скоростью неслись вперед, и палубу то и дело захлестывало водой. Кормовые шпангоуты были основательно расшатаны, и все судно было сильно повреждено, однако, к великой нашей радости, мы убедились, что помпы работают исправно и что балласт почти не сместился. Буря уже начала стихать, и мы не усматривали большой опасности в силе ветра, а, напротив, со страхом ожидали той минуты, когда он прекратится совсем, в полной уверенности, что мертвая зыбь, которая за ним последует, непременно погубит наш потрепанный корабль. Но это вполне обоснованное опасение как будто ничем не подтверждалось. Пять суток подряд, – в течение коих единственное наше пропитание составляло небольшое количество пальмового сахара, который мы с великим трудом добывали на баке, – наше разбитое судно, подгоняемое шквальным ветром, который хотя и уступал по силе первым порывам тайфуна, был тем не менее гораздо страшнее любой пережитой мною прежде бури, мчалось вперед со скоростью, не поддающейся измерению. Первые четыре дня нас несло с незначительными отклонениями на юго-юго-восток, и мы, по-видимому, находились уже недалеко от берегов Новой Голландии. На пятый день холод стал невыносимым, хотя ветер изменил направление на один румб к северу. Возшло тусклое желтое солнце; поднявшись всего лишь на несколько градусов над горизонтом, оно почти не излучало света. Небо было безоблачно, но ветер свежел и налетал яростными порывами. Приблизительно в полдень – насколько мы могли судить – наше внимание опять привлек странный вид солнца. От него исходил не свет, а какое-то мутное, мрачное

свечение, которое совершенно не отражалось в воде, как будто все его лучи были поляризованы. Перед тем как погрузиться в бушующее море, свет в середине диска внезапно погас, словно стертый какой-то неведомой силой, и в бездонный океан канул один лишь тусклый серебристый ободок.

Напрасно ожидали мы наступления шестого дня – для меня он и по сей час еще не наступил, а для старого шведа не наступит никогда. С этой поры мы были объаты такой непроглядною тьмой, что в двадцати шагах от корабля невозможно было ничего разобрать. Все плотнее окутывала нас вечная ночь, не нарушаемая даже фосфорическим свечением моря, к которому мы привыкли в тропиках. Мы также заметили, что, хотя буря продолжала свирепствовать с неудержимой силой, вокруг больше не было обычных вспененных бурунов, которые сопровождали нас прежде. Везде царил только ужас, непроницаемый мрак и вихрящаяся черная пустота. Суеверный страх постепенно овладел душою старого шведа, да и мой дух тоже был объят немым смятением. Мы перестали следить за кораблем, считая это занятие более чем бесполезным, и, как можно крепче привязав друг друга к основанию сломанной бизань-мачты, с тоскою взирали на бесконечный океан. У нас не было никаких средств для отсчета времени и никакой возможности определить свое местоположение. Правда, мы ясно видели, что продвинулись на юг дальше, чем кто-либо из прежних мореплавателей, и были чрезвычайно удивлены тем, что до сих пор не натолкнулись на обычные для этих широт льды. Между тем каждая минута могла стать для нас последней, ибо каждый огромный вал грозил опрокинуть наше судно. Высота их превосходила всякое воображение, и я считал за чудо, что мы до сих пор еще не покоимся на дне пучины. Мой спутник упомянул о легкости нашего груза и обратил мое внимание на превосходные качества нашего корабля, но я невольно ощущал всю безнадежность надежды и мрачно приготовился к смерти, которую, как я полагал, ничто на свете не могло оттянуть более чем на час, ибо с каждою милей мертвая зыбь усиливалась и гигантские черные валы становились все страшнее и страшнее. Порой у нас захватывало дух при подъеме на высоту, недоступную даже альбатросу, порою темнело в глазах при спуске в настоящую водяную преисподнюю, где воздух был зловонен и сперт и ни единый звук не нарушал дремоту морских чудовищ.

Мы как раз погрузились в одну из таких пропастей, когда в ночи раздался пронзительный вопль моего товарища. «Смотрите, смотрите! – кричал он мне прямо в ухо, – о, всемогущий Боже! Смотрите!» При этих словах я заметил, что стены водяного ущелья, на дне которого мы находились, озарило тусклое багровое сияние; его мерцающий отблеск ложился на палубу нашего судна. Подняв свой взор кверху, я увидел зрелище, от которого кровь заледенела у меня в жилах. На огромной высоте прямо над нами, на самом краю крутого водяного обрыва вздыбился гигантский корабль водоизмещением не меньше четырех тысяч тонн. Хотя он висел на гребне волны, во сто раз превышавшей его собственную высоту, истинные размеры его все равно превосходили размеры любого существующего на свете линейного корабля или судна Ост-Индской компании. Его колоссальный тускло-черный корпус не оживляли обычные для всех кораблей резные украшения. Из открытых портов торчали в один ряд медные пушки, полированные поверхности которых отражали огни бесчисленных боевых фонарей, качавшихся на снастях. Но особый ужас и изумление внушило нам то, что, презрев бушевавшее с неукротимой яростью море, корабль этот несли на всех парусах навстречу совершенно сверхъестественному ураганному ветру. Сначала мы увидели только нос корабля, медленно поднимавшегося из жуткого темного провала позади него. На одно полное невыразимого ужаса мгновение он застыл на головокружительной высоте, как бы упиваясь своим величием, затем вздрогнул, затрепетал и – обрушился вниз.

В этот миг в душу мою снизошел непонятный покой. С трудом пробравшись как можно ближе к корме, я без всякого страха ожидал неминуемой смерти. Наш корабль не мог уже больше противостоять стихии и зарылся носом в надвигавшийся вал. Поэтому удар падавшей

вниз массы пришелся как раз в ту часть его корпуса, которая была уже почти под водой, и как неизбежное следствие этого меня со страшною силой швырнуло на ванты незнакомого судна.

Когда я упал, это судно сделало поворот оверштаг, и, очевидно благодаря последовавшей затем суматохе, никто из команды не обратил на меня внимания. Никем не замеченный, я без труда отыскал грот-люк, который был слегка приоткрыт, и вскоре получил возможность спрятаться в трюме. Почему я так поступил, я, право, не могу сказать. Быть может, причиной моего стремления укрыться был беспредельный трепет, охвативший меня при виде матросов этого корабля. Я не желал вверять свою судьбу существам, которые при первом же взгляде поразили меня своим зловещим и странным обликом. Поэтому я счел за лучшее соорудить себе тайник в трюме и отодвинул часть временной переборки, чтобы в случае необходимости спрятаться между огромными шпангоутами.

Едва успел я подготовить свое убежище, как звук шагов в трюме заставил меня им воспользоваться. Мимо моего укрытия тихой, нетвердой поступью прошел какой-то человек. Лица его я разглядеть не мог, но имел возможность составить себе общее представление об его внешности, которая свидетельствовала о весьма преклонном возрасте и крайней немощи. Колени его сгибались под тяжестью лет, и все его тело дрожало под этим непосильным бременем. Слабым, прерывистым голосом бормоча что-то на неизвестном мне языке, он шарил в углу, где были свалены в кучу какие-то диковинные инструменты и полуистлевшие морские карты. Вся его манера являла собою смесь капризной суетливости впавшего в детство старика и величавого достоинства бога. В конце концов он возвратился на палубу, и больше я его не видел.

...Душой моей владеет новое чувство, имени которого я не знаю, ощущение, не поддающееся анализу, ибо для него нет объяснений в уроках былого, и даже само грядущее, боюсь, не подберет мне к нему ключа. Для человека моего склада последнее соображение убийственно. Никогда – я это знаю твердо, – никогда не смогу я точно истолковать происшедшее. Однако нет ничего удивительного в том, что мое истолкование будет неопределенным – ведь оно обращено на предметы столь абсолютно неизведанные. Дух мой обогатился каким-то новым знанием, проник в некую новую субстанцию.

Прошло уже немало времени с тех пор, как я вступил на палубу этого ужасного корабля, и мне кажется, что лучи моей судьбы уже начинают собираться в фокус. Непостижимые люди! Погруженные в размышления, смысл которых я не могу разгадать, они, не замечая меня, проходят мимо. Прятаться от них в высшей степени бессмысленно, ибо они упорно не желают видеть. Не далее как сию минуту я прошел прямо перед глазами у первого помощника; незадолго перед тем я осмелился проникнуть в каюту самого капитана и вынес оттуда письменные принадлежности, которыми пишу и писал до сих пор. Время от времени я буду продолжать эти записки. Правда, мне может и не представиться okazия передать их людям, но я все же попытаюсь это сделать. В последнюю минуту я вложу рукопись в бутылку и брошу ее в море.

Произошло нечто, давшее мне новую пищу для размышлений. Не следует ли считать подобные явления нечаянной игрою случая? Я вышел на палубу и, не замечаемый никем, улегся на куче старых парусов и канатов, сваленных на дне шлюпки. Раздумывая о превратностях своей судьбы, я машинально водил кистью для дегтя по краю аккуратно сложенного лиселя, лежавшего возле меня на бочонке. Сейчас этот лисель поднят, и мои бездумные мазки сложились в слово ОТКРЫТИЕ.

В последнее время я сделал много наблюдений по части устройства этого судна. Несмотря на изрядное вооружение, оно, по-моему, никак не может быть военным кораблем. Его архитектура, оснастка и вообще все оборудование опровергают предположение подобного рода. Чем оно не может быть, я хорошо понимаю, а вот чем оно может быть, боюсь, сказать невозможно. Сам не знаю почему, но, когда я внимательно изучаю его необычные обводы и своеобразный

рангоут, его огромные размеры и избыток парусов, строгую простоту его носа и старинную форму кормы, в уме моем то и дело проносятся какие-то знакомые образы и вместе с этой смутной тенью воспоминаний в памяти безотчетно всплывают древние иноземные хроники и века давно минувшие.

Я досконально изучил тимберсы корабля. Он построен из неизвестного мне материала. Это дерево обладает особым свойством, которое, как мне кажется, делает его совершенно непригодным для той цели, которой оно должно служить. Я имею в виду его необыкновенную пористость, даже независимо от того, что он весь источен червями (естественное следствие плавания в этих морях), не говоря уже о трухлявости, неизменно сопровождающей старость. Пожалуй, мое замечание может показаться слишком курьезным, но это дерево имело бы все свойства испанского дуба, если бы испанский дуб можно было каким-либо сверхъестественным способом растянуть.

При чтении последней фразы мне приходит на память афоризм одного старого, выдавшего виды голландского морехода. Когда кто-нибудь высказывал сомнение в правдивости его слов, он, бывало, говаривал: «Это так же верно, как то, что есть на свете море, где даже судно растет подобно живому телу моряка».

Час назад, набравшись храбрости, я решился подойти к группе матросов. Они не обращали на меня ни малейшего внимания и, хотя я затесался в самую их гущу, казалось, совершенно не замечали моего присутствия. Подобно тому, кого я в первый раз увидел в трюме, все они были отмечены печатью глубокой старости. Колени их дрожали от немощи, дряхлые спины сгорбились, высохшая кожа шуршала на ветру, надтреснутые голоса звучали глухо и прерывисто, глаза были затянуты мутной старческой пеленою, а седые волосы бешено трепала буря. Вся палуба вокруг них была завалена математическими инструментами необычайно замысловатой, устаревшей конструкции.

Недавно я упомянул о том, что подняли лисель. С этого времени корабль шел в полный бакштаг, продолжая свой зловещий путь прямо на юг под всеми парусами и поминутно окуная ноки своих брам-рей в непостижимую для человеческого ума чудовищную бездну вод. Я только что ушел с палубы, где совершенно не мог устоять на ногах, между тем как команда, казалось, не испытывала никаких неудобств. Чудом из чудес представляется мне то обстоятельство, что огромный корпус нашего судна раз и навсегда не поглотила пучина. Очевидно, мы обречены постоянно пребывать на краю вечности, но так никогда и не рухнуть в бездну. С гребня валов, фантастические размеры которых в тысячу раз превосходят все, что мне когда-либо доводилось видеть, мы с легкой стремительностью чайки соскальзываем вниз, и колоссальные волны возносят над нами свои головы, словно демоны адских глубин, однако демоны, коим дозволены одни лишь угрозы, но не дано уничтожать. То, что мы все время чудом уходим от гибели, я склонен приписать единственной натуральной причине, которая может вызвать подобное следствие. Очевидно, корабль находится под воздействием какого-то сильного течения или бурного глубинного потока.

Я столкнулся лицом к лицу с капитаном, и притом в его же собственной каюте, но, как я и ожидал, он не обратил на меня ни малейшего внимания. Пожалуй, ни одна черта его наружности не могла бы навести случайного наблюдателя на мысль, что он не принадлежит к числу смертных, и все же я взирал на него с чувством благоговейного трепета, смешанного с изумлением. Он приблизительно одного со мною роста, то есть пяти футов восьми дюймов, и крепко, но пропорционально сложен. Однако необыкновенное выражение, застывшее на его лице, — напряженное, невиданное, вызывающее нервную дрожь свидетельство старости столь беско-

нечной, столь несказанно глубокой, – вселяет мне в душу ощущение неизъяснимое. Чело его, на котором почти не видно морщин, отмечено, однако, печатью неисчислимого множества лет. Его седые бесцветные волосы – свидетели прошлого, а выцветшие серые глаза – пророчицы грядущего. На полу каюты валялось множество диковинных фолиантов с медными застежками, позеленевших научных инструментов и древних, давно забытых морских карт. Склонившись головою на руки, он вперил свой горячий, беспокойный взор в какую-то бумагу, которую я принял за капитанский патент и которая, во всяком случае, была скреплена подписью монарха. Он сердито бормотал про себя – в точности как первый моряк, которого я увидел в трюме, – слова какого-то чужеземного наречия, и, хотя я стоял почти рядом, его глухой голос, казалось, доносился до меня с расстояния в добрую милю.

Корабль и все находящееся на нем проникнуто духом Старины. Моряки скользят взад-вперед, словно призраки погребенных столетий, глаза их сверкают каким-то лихорадочным, тревожным огнем, и, когда в грозном мерцании боевых фонарей руки их нечаянно преграждают мне путь, я испытываю чувства доселе не испытанные, хотя всю свою жизнь занимался торговлею древностями и так долго дышал тенями рухнувших колоннад Баальбека, Тадмора и Персеполя, что душа моя и сама превратилась в руину.

Оглядываясь вокруг, я стыжусь своих прежних опасений. Если я дрожал от шквала, сопровождавшего нас до сих пор, то разве не должна поразить меня ужасом схватка океана и ветра, для описания коей слова «смерч» и «тайфун», пожалуй, слишком мелки и ничтожны? В непосредственной близости от корабля царит непроглядный мрак вечной ночи и хаос беспенных волн, но примерно в одной лиге по обе стороны от нас виднеются там и сям смутные силуэты огромных ледяных глыб, которые, словно бастионы мироздания, возносят в пустое безотрадное небо свои необозримые вершины.

Как я и думал, корабль попал в течение, если это наименование может дать хоть какое-то понятие о бешеном грозном потоке, который, с неистовым ревом прорываясь сквозь белое ледяное ущелье, стремительно катится к югу.

Постигнуть весь ужас моих ощущений, пожалуй, совершенно невозможно; однако страстное желание проникнуть в тайны этого чудовищного края превосходит даже мое отчаяние и способно примирить меня с самым ужасным концом. Мы, без сомнения, быстро приближаемся к какому-то ошеломляющему открытию, к разгадке некоей тайны, которой ни с кем не сможем поделиться, ибо заплатим за нее своею жизнью. Быть может, это течение ведет нас прямо к Южному полюсу. Следует признать, что многое свидетельствует в пользу этого предположения, на первый взгляд, по-видимому, столь невероятного.

Матросы беспокойным, неверным шагом с тревогою бродят по палубе, но на лицах их написана скорее трепетная надежда, нежели безразличие отчаяния.

Между тем ветер все еще дует нам в корму, а так как мы несем слишком много парусов, корабль по временам прямо-таки взмывает в воздух! Внезапно – о беспредельный чудовищный ужас! – справа и слева от нас льды расступаются, и мы с головокружительной скоростью начинаем описывать концентрические круги вдоль краев колоссального амфитеатра, гребни стен которого теряются в непроглядной дали. Однако для размышлений об ожидающей меня участи остается теперь слишком мало времени! Круги быстро сокращаются – мы стремглав ныряем в самую пасть водоворота, и среди неистового рева, грохота и воя океана и бури наш корабль вздрагивает и – о Боже! – низвергается в бездну!

Примечание. «Рукопись, найденная в бутылке» была впервые опубликована в 1831 году, и лишь много лет спустя я познакомился с картами Меркатора, на которых океан представлен в

виде четырех потоков, устремляющихся в (северный) Полярный залив, где его должны поглотить недра земли, тогда как самый полюс представлен в виде черной скалы, вздымающейся на огромную высоту.

1833

Береника⁷

*Dicebant mihi sodales si sepulchrum amicae visitarem, curas meas
aliquantulum fore levatas⁸.*

Ибн Зайят

Несчастье многогранно. Многолико земное горе. Охватывая широкий горизонт подобно радуге, оно несет в себе столько же красок, как и эта небесная арка, – и столь же отличных друг от друга, и так же сливающихся воедино. Охватывая широкий горизонт подобно радуге! Почему в красоте усмотрел я воплощение безобразия, в залоге безмятежности – улыбку скорби? Но как в этике зло является следствием добра, так в жизни из радости рождается скорбь: воспоминания о прошлом блаженстве становятся нынешним страданием, и муками оборачиваются несбывшиеся восторги.

Я был крещен Эгеем, родовое же свое имя я тут не упомяну. И все же в стране не найдется замка более древнего, чем угрюмые серые башни, унаследованные мною от длинной вереницы предков. Наш род слыл родом духовидцев, и многие причудливые особенности – в самой архитектуре дома, во фресках парадного зала, в гобеленах спален, в каменной резьбе, украшающей столбы оружейной палаты, и более всего в старинных портретах картинной галереи, в плане библиотеки и, наконец, в чрезвычайно своеобразном подборе книг этой библиотеки – с достаточной убедительностью оправдывают эту славу.

Самые ранние воспоминания моей жизни тесно связаны с этой комнатой и с этими фолиантами – о которых я в дальнейшем говорить не буду. Там умерла моя мать. Там родился я. Но к чему утверждать, будто я не жил прежде, будто душа не имеет предыдущего существования! Вы это отрицаете? Я не стану с вами спорить. Сам я в этом убежден, других же убеждать не хочу. Однако ведь есть воспоминание о воздушных образах, о духовных, исполненных бесконечного смысла глазах, о звуках, гармоничных и все-таки печальных; воспоминание, которого нельзя прогнать, воспоминание, подобное тени, смутное, изменчивое, неопределенное, зыбкое – подобное тени еще и в том, что от него нельзя избавиться, пока не затмится солнечный свет моего рассудка.

В этой комнате я родился. И когда от долгой ночи, которая казалась, но не была отсутствием существования, я пробудился в поистине волшебной стране, в чертогах воображения, в необъятных владениях монастырской мысли и эрудиции – удивительно ли, что я озирался по сторонам изумленным и жадным взором, что я праздно провел мое детство за книгами и растратил юность на размышления. Но удивительно другое: прошли годы, и расцвет молодости застал меня в отчем доме, и поразительно то, какими застойными стали источники моей жизни, поразительно то полное смещение, которое произошло в строе самых обычных моих мыслей. Материальный мир вокруг меня представлялся мне совокупностью видений, и только видений, тогда как прихотливые образы страны воображения сделались не просто пищей моего повседневного существования, но самим этим существованием, исчерпывая и замыкая его.

...Береника была моей двоюродной сестрой, и мы выросли вместе в стенах дома моих предков. Но как по-разному росли мы! Я – хилый и угрюмый, она – грациозная, подвижная, полная радости и энергии; она гуляла по холмам и долинам, я склонялся над книгами в монастырском уединении библиотеки; я – углубленный в себя, телом и душой отдающийся самым напряженным и мучительным размышлениям, она – беспечно порхающая по жизни без мысли о теньях на ее тропе, о чередѣ часов, безвозвратно уносящихся прочь на вороновых крыльях.

⁷ © Перевод. И. Гурова, наследники, 2002

⁸ Друзья говорили мне, что горе мое будет несколько облегчено, если я навещу могилу моей подруги (лат.).

Береника! Я повторяю ее имя – Береника! – и этот звук поднимает из серых руин памяти тысячи смятенных воспоминаний. И ее образ стоит сейчас перед моими глазами таким же, как в дни ее беззаботной и радостной юности. О великолепная и все же неизъяснимая красота! О сифида садов Арнгейма! О наяда его источников! А затем... а затем тайна, и ужас, и повесть, которую не должно рассказывать. Болезнь, роковая болезнь обрушилась на нее, как смерч пустыни, и у меня на глазах все в ней переменялось: разум, привычки, характер и даже – неуловимо и ужасно – самая ее личность. Увы! Губитель явился и исчез, а жертва... что стало с ней? Я больше не узнавал ее – не узнавал в ней Береники!

Среди многочисленной свиты недугов, порожденных самым первым и роковым, который повлек за собой столь жуткое преобразование нравственного и телесного облика моей кузины, можно упомянуть наиболее тягостный и упорный – разновидность эпилепсии, нередко завершающуюся оцепенением, подобным смерти, из которого она чаще всего восставала с неожиданной внезапностью. Тем временем моя собственная болезнь – мне велели называть ее только так и не иначе, – моя собственная болезнь овладевала мною все больше и обрела уже характер мономании, неизвестной прежде и необычайной; с каждым часом, с каждой минутой она набирала силу и в конце концов обрела надо мною полную и непостижимую власть. Эта мономания, раз уж я должен называть ее так, представляла собой болезненное возбуждение тех свойств сознания, которые метафизическая наука относит к сфере внимания. Весьма вероятно, что я не буду понят, но, боюсь, нет способа дать обычному читателю хотя бы слабое представление о той нервной интенсивности интереса, с каким я сосредоточивал всю силу моих мыслительных способностей (если не прибегать к специальным обозначениям) на самых тривиальных предметах.

Я мог часами раздумывать над какой-нибудь прихотливой виньеткой на полях книги или над особенностями ее шрифта, мог почти весь летний день пристально рассматривать странную тень на гобелене или на полу, мог всю ночь напролет предаваться созерцанию неколеблящегося язычка пламени в лампе или мерцающих углей в камине, мог целые дни грезить над ароматным цветком, мог однотонно твердить самое простое слово, пока от непрерывного повторения звук его не переставал сообщать мозгу какой-либо смысл, мог полностью утрачивать ощущение физического бытия, долго и упрямо сохраняя неподвижность. Таковы были некоторые из наиболее простых и неопасных чудачеств, вызванных определенным состоянием рассудка, – хотя их отнюдь нельзя назвать единственными в своем роде, они тем не менее не поддаются ни анализу, ни объяснению.

И все же не поймите меня неправильно. Это глубокое, неоправданное и болезненное внимание, возбуждавшееся предметами, по своей природе самыми заурядными, не следует путать со склонностью к задумчивости, которая свойственна всем людям, и особенно тем, кто наделен пылкой фантазией. Его нельзя даже считать, как могло бы показаться на первый взгляд, преувеличенной или доведенной до крайности вышеуказанной склонностью – нет, они различны и по самой своей сути не схожи. В первом случае мечтательная или пытливая натура, заинтересовавшись предметом, как правило, далеко не тривиальным, незаметно для себя увлекается идеями и заключениями, им подсказанными, и в конце концов, очнувшись от этих грез наяву, нередко упоительно прекрасных, обнаруживает, что *incitamentum* – побудительный толчок к размышлениям, их первопричина уже совершенно забыта. Что же касается меня, то таким толчком всегда и неизменно служили предметы самые тривиальные, хотя мое болезненное восприятие и наделяло их искаженной и несуществующей важностью. Почти никаких заключений я не выводил, и немногие возникавшие у меня мысли упрямо возвращались к исходному объекту, как к их центру и основе. Размышления эти никогда не бывали приятными, и по их завершении первопричина не только не оказывалась забытой, но, наоборот, вызывала именно тот неестественный и преувеличенный интерес, который и составлял главную особенность моей

болезни. Короче говоря, как я уже упоминал раньше, у меня при этом особо возбуждалась сфера внимания, тогда как у мечтателя действует сфера умозрительного мышления.

Книги, которые я тогда штудировал, если и не прямо усугубляли мою болезнь, то, как легко заметить, хорошо сочетались с ее главными свойствами благодаря тому, что в своей непоследовательности они питались преимущественно воображением. Среди прочих мне ясно вспоминается трактат благородного итальянца Целия Секунда Куриона «De Amplitudine Beati Regni Dei»⁹, великий труд Блаженного Августина «О граде божьем» и «De Carne Christi»¹⁰ Тертуллиана, чьей парадоксальной сентенции «Mortuus est Dei filius; credibile est quia ineptum est; et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile est»¹¹ я посвятил много недель скрупулезных и бесплодных изысканий.

Таким образом, нетрудно заметить, что мой рассудок, утрачивавший равновесие только из-за пустяков, походил на тот океанский утес, о котором повествует Птолемей Гефестион и который, стойко выдерживая натиск человеческих усилий и куда более яростные приступы волн и ветра, содрогался только от прикосновения цветка, называемого асфоделем. И, хотя поверхностный наблюдатель может счесть само собой разумеющимся, что изменения, которые злосчастный недуг вызвал в духовном облике Береники, должны были бы давать мне много поводов для тех напряженных и болезненных размышлений, природу коих я попытался объяснить, это ни в малейшей степени не соответствовало действительному положению вещей. Бесспорно, в светлые промежутки, когда моя болезнь несколько утихала, несчастье Береники причиняло мне страдания, и, глубоко скорбя над таким крушением этой прекрасной и кроткой жизни, я, разумеется, часто с горечью задумывался о чудодейственных причинах, столь внезапно приведших к подобному странному преображению. Но эти размышления были свободны от влияния моей болезни и сходны с теми, каким при подобных обстоятельствах предавалось бы большинство совершенно здоровых людей. Верная своей природе, моя болезнь находила обильную пищу в менее важных, но более заметных переменах телесного облика Береники – в необычайном и пугающем изменении ее наружности.

Нет никакого сомнения, что в дни расцвета ее несравненной красоты я не питал к ней любви. В моем странном ущербном существовании мои чувства никогда не возникали в сердце и все мои страсти всегда были порождением рассудка. В сером полусвете раннего утра, в кружевных тенях леса в полдень и в безмолвии моей библиотеки вечером она то являлась моим глазам, то исчезала, и я видел ее не как живую Беренику из плоти и крови, но как Беренику сонных грез; не как земное существо, порождение земли, но как абстрактную идею такого существа, не как источник восхищения, но как повод для анализа, не как предмет любви, но как тему для сложнейших, хотя и рассеянных размышлений. А теперь... теперь я содрогался от ее присутствия и бледнел, когда она приближалась ко мне, и все же, горько сострадая ее нынешнему злополучному состоянию, я напомнил себе, что она давно меня любила, и в роковую минуту просил ее стать моей женой.

И вот, когда срок нашей свадьбы уже приближался, на исходе некоего зимнего дня – одного из тех не по времени теплых, тихих и туманных дней, которые называют кормилицей прекрасной Альционы¹², – я сидел (и, как мне казалось, в одиночестве) в кабинете за библиотекой. Однако, подняв глаза, я увидел перед собой Беренику.

Мое ли возбужденное воображение, туман ли, разлитый в воздухе, сумрак ли комнаты, серые ли покровы, окутывавшие ее фигуру, – что придало ей такую неясность и зыбкость? Не

⁹ «О величии блаженного царства Божия» (лат.).

¹⁰ «О плоти Христовой» (лат.).

¹¹ Умер сын Божий; это достойно веры, ибо нелепо; и погребенный восстал из могилы; это несомненно, ибо невозможно (лат.).

¹² «Юпитер в зимние месяцы дважды ниспосылает семь теплых дней, и люди называли эту благодатную и ласковую погоду кормилицей прекрасной Альционы» (Симонид). – *Примеч. авт.*

знаю. Она молчала... как и я – ни за какие сокровища мира не мог бы я произнести ни единого слова. Ледяной холод разлился по моим членам, гнетущая тревога овладела мной, жгучее любопытство томило мою душу, и, откинувшись в кресле, я на несколько минут замер без движения, устремляя на Беренику пристальный взгляд. Увы, в очертаниях этой исхудалой фигуры нельзя было обнаружить ни единой прежней линии. Наконец мой пылающий взор обратился на ее лицо. Лоб был высок, очень бледен и странно безмятежен; на него ниспадали некогда иссиня-черные волосы, скрывая впадины у висков под бесчисленными завитками – желтоватыми, отвратительно дисгармонизирующими в своей гротескности с глубокой меланхоличностью всего лица. Глаза были лишены жизни, лишены блеска и, казалось, лишены зрачков – и, не выдержав их стекленеющего взгляда, я посмотрел на узкие, сморщенные губы. Они раздвинулись, и в непонятной улыбке моему взору открылись зубы изменившейся Береники. О, если бы Бог не судил мне видеть их! О, если бы, увидев их, я тут же умер!

Стук захлопнувшейся двери вывел меня из задумчивости, и я обнаружил, что моя кухня покинула библиотеку. Но белый жуткий призрак ее зубов, увы, не покинул моего смятенного мозга, и изгнать его оттуда не удавалось. Краткого мгновения ее улыбки оказалось достаточно, чтобы каждая точка на их поверхности, каждый оттенок их эмали, каждая зазубринка на их краях навеки запечатлелись в моей памяти. И теперь я видел их даже еще более ясно, чем тогда. Зубы! Зубы! Они были и тут, и там, и повсюду, зримые, осязаемые, куда бы я ни посмотрел – длинные, узкие, неимоверно белые, обрамленные шевелящимися бледными губами, как в первый миг их ужасного обнажения. Моя мономания вспыхнула с яростной силой, и тщетно пытался я совладать с ее странной и необоримой властью. Из всех бесчисленных предметов внешнего мира я был способен думать только о зубах. Я жаждал их с исступленным безумием. Все остальное отступило и исчезло. Только они, только они одни стояли перед моим внутренним взором, и они, единственные и неповторимые, составляли всю сущность моих мыслей. Я рассматривал их при всевозможном освещении. Я поворачивал их под всевозможными углами. Я исследовал каждую их частность, я изучал каждую их особенность. Я думал об их форме. Я размышлял об изменениях в их природе. Я содрогался, приписывая им в воображении способность чувствовать и понимать и умение даже без помощи губ выражать свои чувства. О мадемуазель Салле отлично сказали, что «*tous ses pas étaient des sentiments*»¹³, а я серьезно думал о Беренике, что *toutes ses dents étaient des idées*¹⁴. *Des idées!* О, вот идиотическая мысль, погубившая меня! *Des idées!* А, вот почему я возжелал их с такой страстью! Я чувствовал, что рассудок вновь вернется ко мне и я обрету душевный покой, только став их обладателем.

Вот так я встретил исход вечера, а затем наступила тьма, и сомкнулась на свой срок, и исчезла, и вновь занялся день, и вот уже начали стучаться туманы новой ночи, а я по-прежнему сидел неподвижно в уединении библиотеки, по-прежнему предаваясь размышлениям, и призрак зубов все так же сохранял страшную власть надо мной, с совершеннейшим и жутким правдоподобием кружа по комнате в меняющихся сочетаниях света и теней. Наконец в мои грезы ворвался вопль ужаса и смятения, а потом – гуд встревоженных голосов, к которому примешивались тихие стенания печали, а может быть, страдания. Я встал с кресла и, распахнув одну из дверей, увидел в галерее служанку, всю в слезах. Она сказала мне, что Береника... скончалась! Утром у нее начался эпилептический припадок, а сейчас, перед наступлением ночи, могила была уже готова принять ее и все приготовления к погребению были завершены.

Я обнаружил, что сижу в библиотеке, и вновь сижу там один. Мне казалось, что я очнулся от хаотичного и лихорадочного сна. Я знал, что теперь была полночь, и помнил, что после

¹³ Каждый ее шаг был чувством (*фр.*).

¹⁴ Каждый ее зуб был мыслью (*фр.*).

захода солнца Беренику похоронили. Но о тягостном промежутке между этими двумя моментами я не сохранил никакого точного или хотя бы примерного представления. И все же мысль об этом промежутке была насыщена ужасом – ужасом тем более ужасным, что он был смутным, и страхом тем более страшным, что он был неопределенным. Это была леденящая душу страница моего существования, вся исписанная зыбкими, отвратительными и невнятными воспоминаниями. Я пытался разобраться в них, но тщетно, а время от времени, точно фантом умершего звука, в моих ушах раздавался пронзительный женский крик. Я что-то сделал – но что? Я задавал себе этот вопрос вслух, и шепчущее эхо под сводами отвечало мне: «Что?.. Что?..»

На столе возле меня горела лампа, а рядом с ней стояла небольшая шкатулка. В ней не было ничего примечательного, и я не раз видел ее прежде, так как она принадлежала нашему домашнему врачу. Но каким образом оказалась она здесь, на моем столе, и почему я содрогался, глядя на нее? Я не находил этому объяснения, и в конце концов мои глаза опустились на раскрытую книгу, остановившись на подчеркнутой фразе. Это были поразительные, но простые слова поэта Ибн Зайята: «Dicebant mihi sodales si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas». Так почему же, пока я перечитывал их, волосы на моей голове встали дыбом и кровь застыла в моих жилах?

Раздался легкий стук в дверь, и в библиотеку, бледный, как обитатель могилы, на цыпочках вошел слуга. Его лицо было искажено ужасом, и он заговорил со мной дрожащим, хриплым, еле слышным голосом. Что сказал он? Я уловил отдельные фразы. Он говорил о безумном вопле, нарушившем безмолвие ночи, о том, как сбежались слуги, о том, как они пошли туда, откуда донесся звук... Тут его голос стал пронзительно отчетливым, и он зашептал мне про оскверненную могилу, про обезображенное тело в саване – но еще дышавшее... еще содрогающееся... еще живущее!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.